

## Annotation

David Herbert Lawrence. Things.

Перевод с английского Ларисы Ильинской.

---

- [Дэвид Герберт Лоуренс](#)
    -
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
- 

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# Дэвид Герберт Лоуренс

•

## Вещи

### Рассказ

Они были, что называется, людьми с идеалами, оба — выходцы из Новой Англии. Оговоримся: мы начинаем издалека, с довоенного времени. За несколько лет до войны они встретились и поженились; он — молодой человек из Коннектикута, высокий, с острым взглядом, и она — маленькая девушка из Массачусетса, с пуританской строгостью в облике и манерах. У обоих имелись деньги. Правда, небольшие. Даже если сложить вместе, получалось неполных три тысячи в год. Но все же они давали свободу. Свободу!

Ах, свобода! Свобода распоряжаться жизнью по-своему! Молодость; двадцать пять и двадцать семь лет, с возвышенными идеалами, с общей любовью к прекрасному, тяготением к «индийской философии»- разумея под этим, увы, теософию миссис Безант<sup>[1]</sup> — и с доходом почти в три тысячи годовых! А впрочем, что такое деньги? Жить полной и прекрасной жизнью — вот предел желаний. В Европе, разумеется, у самой колыбели культуры. Можно бы, пожалуй, и в Америке — той же Новой Англии, предположим. Однако с определенными издержками в части «прекрасного». Истинно прекрасное созревает за века. Барокко стоит лишь на полпути к истинной, зрелой красоте. Нет, подлинная красота, серебристое ее цветение, золотой медвяный букет восходит к Возрождению, а не к более поздним временам, когда вкусы измельчали.

А потому сразу после свадьбы в Нью-Хейвене чета идеалистов села на пароход и отправилась в Париж — Париж, где все дышит стариной. Сняли ателье на бульваре Монпарнас и зажили как настоящие парижане, но не в нынешнем, пошлом смысле слова, а в прежнем, полном очарования. Мерцающий мир подлинных импрессионистов, Моне и его последователей; мир, зримый в категориях чистого света, тонов и полутонов! Какая прелесть! Прелесть ночей у реки, утренние часы на старых улицах, возле цветочных лотков и книжных киосков;

послеполуденные прогулки по Монмартру или Тюильри, вечера на бульварах!

Оба занимались живописью, однако не слишком рьяно. Искусство не захватило их безраздельно, и они не пытались беззаветно отдаться Искусству. Писали понемногу, и только. Обзаводились знакомыми — по возможности своего круга, хотя приходилось мириться и с исключениями. И были счастливы.

Но, по-видимому, человеку в жизни необходимо за что-то уцепиться. «Быть свободным», «жить полной и прекрасной жизнью» невозможно, увя, если не прилепиться к чему-нибудь. «Полная и прекрасная жизнь» немыслима без прочной привязанности к чему-то основательному — во всяком случае, если говорить о людях с идеалами, — иначе наступает скука, происходит некое качание незакрепленных нитей в воздухе: так раскачиваются жадные усики лозы, тянутся, поворачиваются, ища, за что бы уцепиться, по чему бы вскарабкаться выше, к животворящему солнцу. Не найдя ничего, лоза, достойная называться лозой только наполовину, способна лишь влачиться по земле. В этом и заключается свобода — в том, чтобы ухватиться за нужный колышек. А каждый человек — лоза. В особенности человек возвышенный. Он — лоза, и его потребность — цепляться и карабкаться вверх. И того, чья участь — быть ничтожной картофелиной, репой, деревянной чуркой, он презирает.

Наши идеалисты были предельно счастливы, но при этом постоянно нащупывали, к чему бы прикрепиться. На первых порах им хватало Парижа. Они обследовали Париж вдоль и поперек. И учили французский, пока не заговорили на нем так бойко, что стали ощущать себя заправскими французами.

Но все же, знаете, на французском языке по душам не поговоришь. Не получится. И хоть вначале куда как занимательно потолковать по-французски с разумным французом — а впечатление всегда такое, что француз намного тебя разумней, — от этого в конечном счете все-таки остается чувство неудовлетворенности. От бесконечно рассудочного материализма французов веет холодом, в конце концов ты ощущаешь за ним пустоту, выхолощенность, чуждую исконному духу Новой Англии. Так решила для себя чета идеалистов.

Они отвратили свои взоры от Франции — и с каким нежным сожалением! Франция не оправдала их надежд!

— Было чудно, Париж так много нам дал! Но со временем — а время прошло немалое, шутка сказать, несколько лет — он расхолаживает. Это все же не совсем то, что надо.

— Но ведь Париж еще не Франция.

— Да, пожалуй. Франция и Париж далеко не одно и то же. Франция — прелесть, совершенная прелесть. Но нам, хотя мы и любим ее, она мало что говорит.

Поэтому, когда началась война, наши идеалисты подались в Италию. И влюбились в нее! Италия им казалась прекрасной и трогала их душу сильнее, чем Франция. Она куда ближе подходила к новоанглийским представлениям о красоте как о чем-то девственно-чистом, полном человеческого тепла, лишенном французского материализма и цинизма. В Италии идеалисты словно бы дышали родным воздухом.

Кроме того, Италия гораздо больше, чем Париж, располагала к трепетному приятию слова Будды. Увлечение современным буддизмом захлестнуло их с небывалой силой — они читали, погружались в самосозерцание, сознательно поставив себе целью истребить в душе своей корысть, страдание и скорбь. Они до поры до времени не ведали, что жажда Будды избавиться от страдания и скорби представляет собой тоже своеобразный вид корысти. Нет, им виделся в мечтаниях идеальный мир, где страданиям, скорби и уж тем более корысти не будет места.

Но вот в войну вступила Америка, пришлось и чете идеалистов внести свою лепту в борьбу за победу справедливости. Они работали в госпитале. И хотя жизнь на каждом шагу вновь и вновь подтверждала, что избавиться мир от корысти, страдания и скорби необходимо, все же становилось сомнительно, чтобы буддизм или теософия могли полностью восторжествовать над затянувшимся бедствием. Где-то в неведомых тайниках души зрела смутная догадка, что корысть, страдание и скорбь вообще нельзя искоренить, поскольку люди в большинстве своем нисколько о том не радуют и не будут радеть никогда. Наши идеалисты чересчур прочно принадлежали Западу, чтобы прельститься мыслью, что-де пускай весь мир летит в тартарары, лишь бы уцелеть им обоим. Им не доставало себялюбия, чтобы сиднем сидеть под деревом Бо и сам-друг погружаться в нирвану.

Скажем больше. Не тем наградила их природа Sitzfleisch,<sup>[2]</sup> чтобы, уютно присев под деревом Бо, погружаться в нирвану посредством созерцания чего-либо и в последнюю очередь — собственного пупа. Ежели не спасется весь мир, им как-то не особенно улыбалось помышлять о персональном спасении. Нет, это не сулило ничего, кроме одиночества. Им, детям Новой Англии, надобно все или ничего. От корысти, страдания и скорби надлежит избавиться весь мир, а иначе что толку истреблять их в самом себе? Решительно никакого толку! Иначе ты — просто жертва.

Итак, при всей любви к «индийской философии», всем тяготении к ней. одним словом, вновь прибегая к нашей метафоре, тот колышек, по которому донныне взбирались вверх зеленолистые мятущиеся лозы, оказался на поверку трухлявым. Он обломился, и лозы опять поникли. Без стука, без треска. Какое-то время они еще держались на сплетенной листве. Потом поникли. Колышек «индийской философии» рухнул до того, как две лозы — он и она — успели перекинуться с его верхушки выше, в неведомый им мир.

С протяжным шорохом они опять легли наземь. Однако же не возроптали. Снова их постигло крушение надежд. Но они в том не признавались. «Индийская философия» подвела их. Однако они не жаловались. Не обмолвились об этом ни единым словом, даже друг с другом. Они пережили разочарование, обманулись в своей мечте, неуловимой, но заветной — и оба знали это, но молча, про себя.

К тому же в жизни еще оставалось так много всего! Еще оставалась Италия — милая Италия. Оставалась свобода, — бесценное сокровище. И так много оставалось «прекрасного»! С «полной жизнью» обстояло сложнее. Появился сын, которого они любили, как и полагается родителям любить свое дитя, благоразумно воздерживаясь при этом от того, чтобы сосредоточиться на нем всецело, строить свою жизнь на нем одном. Нет-нет, они должны жить своей собственной жизнью! У них хватало здравомыслия сознавать это.

Беда заключалась в том, что они уже были не очень молоды. Двадцать пять и двадцать семь миновали, их сменили тридцать пять и тридцать семь. И хотя они изумительно прожили в Европе эти годы и были по-прежнему влюблены в Италию — милую Италию! — все же их постигло разочарование. Европа дала им немало — нет, серьезно, очень немало! А все же не то, что они ожидали, не совсем то, не вполне. Европа полна прелести, но она отжила свое. Живя в Европе, живешь непременно прошлым. Да и европейцы, при всем своем внешнем шарме, лишены подлинного обаяния. Слишком они земные, в них нет настоящей души. Им попросту недоступны сокровенные порывы человеческого духа, ибо эти порывы умерли в них, эти люди изжили себя. Вот-вот, это очень точно сказано: европейцы изжили себя, в них не осталось поступательного заряда.

Новый колышек подломился, рухнула новая опора под живой тяжестью зеленой лозы. На сей раз это произошло весьма болезненно. Ведь более десяти лет молчаливо взбиралась зеленая лоза по стволу старого дерева, именуемого Европой, — десять безмерно важных лет, годы самого

расцвета. Жизнь, не что-нибудь, доверили двое идеалистов Европе, укоренясь на европейской почве, питаясь европейскими соками, подобно двум лозам в вечнозеленом винограднике.

Здесь завели они себе дом — дом, какого нипочем не заведешь в Америке. «Прекрасное» было их девизом. Последние четыре года они снимали второй этаж старинного палаццо на реке Арно, тут у них были собраны все их «вещи». Эта обитель служила им источником глубокой улады: величавая тишина этих древних покоев, окна, выходящие на реку, блеск темно-красного паркета, чудная мебель, которую идеалистам посчастливилось «откопать».

М-да, жизнь наших идеалистов, незаметно для них самих, все это время с неистовой скоростью мчалась по вертикали. Они превратились в неистовых, ненасытных охотников за «вещами» для своего дома. Пока душою они устремлялись ввысь к солнцу старой европейской культуры или древней индийской философии, страсти мчали их по вертикали, понуждая цепляться за «вещи». Естественно, они накупили вещи не ради вещей как таковых, но во имя «прекрасного». Не вещи — при чем тут «вещи»! — но единственно красота составляла для них убранство их дома. Валери Отыскала для окон длинного salotto<sup>[3]</sup> выходящего на реку, сказочной красоты шторы — шторы из удивительной старинной ткани, напоминающей тончайшего плетения шелк; краски, некогда пунцовые, рыжие, черные, золотые, от времени чудесно поблекли и рдели мягким огнем. Входя в salotto, Валери всякий раз превозмогала желание молитвенно опуститься перед шторами на колени.

— Шартр! — говорила она. — Для меня они то же, что Шартрский собор!<sup>[4]</sup>

А у Мелвилла при взгляде на его венецианский, шестнадцатого века книжный шкаф, в котором стояли два-три десятка тщательно подобранных томов, всякий раз пробегал по спине холодок. Это было святое!

И молчаливо, почти суеверно сторонился этих памятников старины мальчик, словно боялся потревожить гнездо спящих кобр или задеть ненароком ковчег завета<sup>[5]</sup> — «вещь», какой и вовсе рискованно касаться. Молча, со сдержанным, но непреодолимым содроганием мальчик чурался домашних святынь.

Однако траченное временем великолепие обстановки не может заполнить собою жизнь идеалистов из Новой Англии. По крайней мере таких, как наши. Они привыкли к изумительному болонскому буфету, привыкли к дивному венецианскому шкафу, к книгам, к сиенским шторам и

бронзе, к очаровательным кушеткам, столикам, стульям, которые «откопали» в Париже. А откапывали они вещи с первого дня, как только ступили на европейскую землю. И до сих пор не перестали. Для приезжего, как, впрочем, и аборигена, подобного рода занятие всегда припасено в Европе — худой конец.

Когда к Мелвиллам приходили гости и восторгались интерьерами, Валери и Эразм чувствовали, что прожили жизнь не зря — жизнь продолжается! Но по утрам, в те долгие часы, когда Эразм пытался сосредоточить разбегающиеся мысли на литературе флорентийского Возрождения, а Валери наводила порядок в комнатах, — но в долгие послеобеденные часы, — но долгими и обычно холодными тоскливыми вечерами ореол вокруг обстановки меркнул, и «вещи» в старом палаццо становились просто вещами, скоплением рухляди, которая стоит и висит вокруг *ad infinitum*,<sup>[6]</sup> ничего не говоря ни уму, ни сердцу, — и в такие часы Валери и Эразм были готовы возненавидеть их. Жар, порождаемый красотой, подобно всякому жару, меркнет, если его ничем не питать. «Вещи» были по-прежнему дороги сердцу идеалистов. Но идеалисты уже владели ими. А как ни печально, к вещам, за которыми охотишься с таким жаром, через год или два сильно охлаждаешь. Другое дело, конечно, если они становятся предметом всеобщей зависти, если их наперебой стараются заполучить музеи. А у Мелвиллов как ни хороши были «вещи», но все-таки не настолько.

Короче, мало-помалу вся эта красота померкла в их глазах, померкло очарование Европы, Италии, — «что за прелесть эти итальянцы!» — померкло даже великолепие покоев на Арно. «Нет, будь у меня такая квартира, мне никогда, никогда в жизни не захотелось бы выйти из дому. Это сама гармония, само совершенство!» Естественно, слышать такие слова — это уже кое-что.

И тем не менее Валери с Эразмом уходили из дому — скажем больше, они уходили прочь от его вековой тишины, тяжелой, как камень, холодной, как мраморные полы; от его мертвенного величия.

— Ты чувствуешь, Дик, мы живем прошлым, — говорила мужу Валери. Она называла его Диком.

Стиснув зубы, они продолжали цепляться за этот колышек. Им не хотелось сдаваться. Не хотелось расписываться в своем поражении. Двенадцать лет они были «свободные» люди, живущие «полной, прекрасной жизнью». Двенадцать лет Америка была для них Содомом и Гоморрой, гнусным исчадием промышленной бездуховности.

Нелегко расписываться в своем поражении. Очень неприятно

сознаваться, что тебя тянет назад. Но в конце концов, скрепя сердце, они решили вернуться — «ради сына».

— Сил нет расставаться с Европой. Но Питер как-никак американец, пускай поглядит на Америку, покуда мал.

По произношению, по манере держаться Мелвиллы были совсем англичане — почти совсем: кое-что переняли от итальянцев, кое-что от французов.

Они все же расстались с Европой, но кусочек ее — сколько было в их силах — захватили с собой. Несколько полных контейнеров, если уж быть точным. Все свои обожаемые, незаменимые «вещи» И в полном составе прибыли в Нью-Йорк: идеалисты, их сын и солидный кусок Европы, погруженный в контейнеры.

Валери рисовала себе симпатичную квартиру где-нибудь на Риверсайд-драйв, где не так дорого, как на Западной стороне, и где так красиво встанут их изумительные вещи. Они с Эразмом занялись поисками. Но увы! Когда годовой доход существенно меньше трех тысяч. Поиски завершились. да разве неясно, чем они должны были завершиться! Две комнатухи и кухонька, и боже нас упаси ставить сюда хоть что-нибудь из «вещей»!

Увесистый куш, который им удалось отхватить от Европы, последовал на склад — пятьдесят долларов в месяц за хранение. А идеалисты сидели в двух комнатухах с кухонькой и спрашивали себя, для чего, собственно, они это все затеяли.

Конечно, Эразму следовало поступить на работу. Так значилось на скрижалях, только супруги отказывались видеть это. Недаром для них статуя Свободы всегда таила в себе эту неясную, эту непостижимую угрозу: «Человек, поступи на работу!» Эразму же были, как говорится, и карты в руки. Ему еще не поздно было вступить на преподавательское поприще. Он в свое время с блеском закончил Йельский университет и не оставлял своих «изысканий», даже когда находился в Европе.

Но об этом они с женой подумать не могли без содрогания. Преподавательское поприще! Университетский мирок! Американский к тому же! Брр — и еще раз брр!

Ради этого пожертвовать свободой, расстаться с полной и прекрасной жизнью? Ни за что! Никогда! А между прочим, Эразму через год исполнялось сорок.

«Вещи» пребывали на складе. Валери как-то раз наведальась к ним. Это стоило ей доллар в час — и мучительные терзания. «Вещи», бедненькие, имели достаточно жалостный и обшарпанный вид.



Но разве Америка клином сошлась на Нью-Йорке? Есть Запад с его нетронутыми просторами! И, взяв Питера, но оставив «вещи», Мелвиллы подались на Запад. Пожить простою жизнью на лоне гор. Но что за попытка, оказывается, самим все делать по дому! Смотреть на вещи приятно, кто спорит, однако ухаживать за ними — одно мучение, далее когда они красивы. А уж заделаться рабами уродских вещей, растапливать печку, стряпать еду, мыть посуду, таскать воду и мести полы — это вообще черт знает что такое, это не жизнь, а ужас!

В убогой горной хижине Валери грезилась Флоренция, утраченные покои на берегу Арно, болонский буфет, стулья эпохи Людовика XV, а главное — ее «Шартр», ее сказочные шторы, прозябающие в Нью-Йорке за пятьдесят долларов в месяц.

Избавление явилось в образе знакомого миллионера, который предложил им свой коттедж на Калифорнийском побережье. Калифорния! Край, где у человека вновь рождается душа! Идеалисты переехали еще немного дальше на Запад, радостно цепляясь за новый колышек надежды.

И обнаружили, что он — соломинка! Миллионеров коттедж был идеально оборудован. Он приближался, можно сказать, к пределу совершенства, так предусмотрено в нем было все, что облегчает труд: отопление — электрическое, плита — тоже, глазурированная, снежно-перламутровая кухня, пыли и грязи просто взяться неоткуда, разве что от человека. Час-полтора, и вся работа по дому окончена. И ты «свободен»-свободен слушать, как бьется в берег Великий океан, и ощущать, как существо твое полнится новою душою.

Ура! Великий океан молотил в берег с удручающей жестокостью, как воплощение слепой, безжалостной силы! А новая душа — нет, чтоб струиться в тебя нежным ручейком — прямо-таки вгрызалась в самое твое существо, нагло вытесняя оттуда прежнюю душу. Чувствовать, что над тобой занесен кулак слепой, всесокрушающей силы, что из тебя выгрызают самое дорогое: твою возвышенную душу, оставляя взамен только досаду и раздражение, — тут, знаете, хорошего мало.

Прошло примерно девять месяцев, и идеалисты покинули Запад, а с ним — и Калифорнию. Это была грандиозная затея, они нисколько не жалеют о ней. Но все-таки, в конечном счете, Запад — неподходящее для них место, и они убедились в этом.

Нет уж, пусть новой душою обзаводятся те, у кого есть в ней потребность. А они, Валери и Эразм Мелвиллы, лучше будут, по мере сил, пестовать в себе ту душу, какая есть. Тем более что притока каких-то новых душевных сил на Калифорнийском побережье они не ощутили. Скорей

напротив.

Итак, с заметной прорехой в капитале — речь идет уже не о духовных ценностях — они вернулись в Массачусетс и вместе с сыном посетили родителей Валери. Внука, несчастного бездомного ребенка, ее родители приняли ласково; Валери с холодком; Эразму был оказан ледяной прием. В один прекрасный день мать напрямик объявила Валери, что Эразму следует поступить на работу и дать своей жене возможность жить по-человечески. Валери высокомерно напомнила ей о великолепных покоях на Арно, об изумительных «вещах», хранящихся на складе в Нью-Йорке, и о том, какой «чудесной и содержательной жизнью» жили они эти годы с Эразмом. Мать возразила, что ничего особенно чудесного в жизни дочери она пока не видит: семья без крыши над головой, муж в сорок лет болтается без дела, ребенку надо дать образование, а деньги тают, — по ее понятиям, это не чудесная жизнь, как раз наоборот. Пускай Эразм подыщет себе место в каком-нибудь университете.

— В каком? — перебила ее Валери. — И какое место?

— При таких связях, как у твоего отца, и таких данных, как у Эразма, место найдется. Тогда можно забрать все твои ценные вещи со склада и действительно развести у себя дома такую красоту, что все только ахнут. А так мебель лишь съедает ваше состояние, а сами вы, как крысы, забились в дыру, где носа высунуть некуда.

Это было вполне справедливо. Валери начала томиться по собственному дому, обставленному ее «вещами». Конечно, мебель можно было продать, и за приличные деньги, но на такое Валери не согласилась бы ни за что на свете. Пусть рушится все вокруг: культуры, верования, материка, надежды, — ничто и никогда не разлучит ее с «вещами», которые они с Эразмом собирали с такой страстью. К «вещам» она была прикована намертво.

— Да, но как отказаться от свободы, от полной и прекрасной жизни, в которую они так верили? Эразм проклинал Америку. Он решительно не желал зарабатывать деньги на жизнь. Он тосковал по Европе.

Вверив мальчика попечению родителей Валери, чета идеалистов снова отправилась в Европу. В Нью-Йорке, уплатив два доллара, они провели короткий и горький час, осматривая «вещи». На пароходе плыли «студенческим классом»-иначе говоря, третьим. Доход их теперь составлял неполных две, а не три, как прежде, тысячи годовых. И путь они держали в Париж — Париж, где все так дешево.

На этот раз поездка обернулась полнейшей неудачей.

— Мы возвратились в Европу, как псы на свою блевотину, — говорил

Эразм, — только блевотина за это время успела обратиться в прах.

Он обнаружил, что не переносит Европу. Каждая мелочь здесь раздражала его. Он и Америку терпеть не мог. Но по сравнению с этим злосчастным, заплеванным материком, где, кстати, дешевизны больше нет и в помине, Америка все же была во сто крат лучше.

Валери, памятуя о «вещах»- она просто изнемогала от желания извлечь их с этого проклятого склада, где они простояли уже три года, поглотив напрасно две тысячи долларов, — написала матери, что Эразм, пожалуй, вернулся бы в Америку, если бы для него нашлась подходящая работа. Эразм в расстроенных чувствах, близкий к бешенству, к помутнению рассудка, болтался по Италии в обтрепанном, как у последнего забулдыги, костюме и с лютой ненавистью ко всему, что его окружало. И когда для него отыскалось место преподавателя французской, итальянской и испанской литературы в Кливлендском университете стеклянный блеск в его глазах усилился, черты его странно вытянутого лица, искаженные крайним смятением и яростью заострились еще резче, придавая ему сходство с крысиной мордой. В сорок лет работа все-таки настигла его.

— По-моему, милый, надо соглашаться. Европа больше не привлекает тебя. С нею все кончено, она, как ты сам выразился, изжила себя. Нам обещают предоставить дом на территории университета, и мама говорит, там хватит места для всех наших вещей. Я думаю, надо дать телеграмму, что мы согласны.

Эразм, точно загнанная в угол крыса, метнул на нее злобный взгляд. Так и мерещилось, будто по бокам его заострившегося носа топорщатся, подрагивая, крысиные усы.

— Ну как, посылать мне телеграмму? — спросила она.

— Посылай! — выпалил он.

И Валери пошла давать телеграмму.

Эразма словно подменили с этих пор — он притих, перестал поминутно раздражаться. Тяжкое бремя свалилось с его плеч. Клетка захлопнулась.

Но когда перед ним дремучим черным лесом выросли исполинские кливлендские печи с искрометными каскадами раскаленного добела металла, подле которых под непомерной, неистовой шум гномиками копошились люди, он сказал жене:

— Что ни говори, с этой силищей сегодня в мире не сравнится ничто.

И когда они въехали в свой вполне современный домик на территории Кливлендского университета и незадачливые обломки Европы: болонский

буфет и венецианский книжный шкаф, епископское кресло из Равенны, столики в стиле Людовика XV, шторы «Шартр», лампы сиенской бронзы — стали по местам и пришлись совершенно не к месту, вследствие чего приняли крайне импозантный вид; когда у идеалистов, разинув от изумления рты, собрались гости и Эразм, слегка рисуясь, принимал их в лучших европейских традициях, но одновременно с настоящим американским радушием, а Валери блистала изысканностью манер, но при всем том «мы отдаем предпочтение Америке», — тогда, метнув на жену странный взгляд крысиных острых глаз, Эразм сказал:

— Как майонез к омарам, Европа недурна, но все же сами омары — это Америка, верно?

— Безусловно! — довольная, отвечала жена. Эразм внимательнее взгляделся в ее лицо. Он попался — ну что же, зато в клетке чувствуешь себя надежно. Да и Валери, как видно, стала, наконец, сама собой. Ее добро — при ней. Правда, по углам его ученого носа затаилось странное, недоброе выражение откровенного скептицизма. Но он был большой любитель омаров.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

**1**

*Анн Безант* (1847–1933) — английская теософка.

2

седалищем (нем.).

3

гостиной (*итал.*).



Готический собор во Франции, знаменитый, в частности, своими витражами.

Библия, «Числа», 10, 33.

**6**

Здесь: в неисчислимом множестве (*лат.*).